

Дмитрий Аверкиев

**Аполлон Александрович
Григорьев**



Дмитрий Васильевич Аверкиев

Аполлон Александрович Григорьев

«Въ пятницу 25-го сентября умеръ нашъ другъ и сотрудникъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.

Потеря его для насъ велика и незамѣнима. Многое еще не досказано имъ; многое, высказанное мимоходомъ, не получило достодолжнаго развитія.

Чтобы понять и вѣрно оцѣнить жизнь и литературную дѣятельность Григорьева, надо уяснить себѣ его основныя воззрѣнія, или, вѣрнѣе и лучше, вѣрованія. Мнѣ кажется я не ошибусь, если скажу, что основой его личности была полная, безъ поворота, *вѣра въ жизнь и вѣра въ искусство*, какъ въ одно изъ главнѣйшихъ выраженій жизни. Вѣра въ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ; въ жизнь безустанно развивающуюся, по своимъ основнымъ извѣчнымъ законамъ; въ жизнь, которую нельзя затиснуть въ рамку никакой – какъ – бы умна она ни была – теоріи; въ вѣчно юную и любящую, постоянно обманывающую строгія, но сухія выкладки ума, – въ то, что покойный называлъ *ироніей жизни...*»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

**Дмитрий Васильевич
Аверкиев
Аполлон Александрович
Григорьев**

*Мертвый въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій!*

Въ пятницу 25-го сентября умеръ нашъ другъ и сотрудникъ Аполлонъ Александровичъ Григоревъ[1].

Потеря его для насъ велика и незамѣнима. Многое еще не досказано имъ; многое, высказанное мимоходомъ, не получило достожднаго развитія.

Чтобы понять и вѣрно оцѣнить жизнь и литературную дѣятельность Григорьева, надо уяснить себѣ его основныя воззрѣнія, или, вѣрнѣе и лучше, вѣрованія. Мнѣ кажется я не ошибусь, если скажу, что основой его личности была полная, безъ поворота, *вѣра въ жизнь и вѣра въ искусство*, какъ въ одно изъ главнѣйшихъ выраженій жизни. Вѣра въ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ; въ жизнь безустанно развивающуюся, по своимъ основнымъ извѣчнымъ законамъ; въ жизнь, которую нельзя затиснуть въ рамку никакой – какъ – бы умна она ни была – теоріи; въ вѣчно юную и любящую, постоянно обманывающую строгія, но сухія выкладки ума, – въ то, что по-

койный называлъ *ироніей жизни*.

И такъ, не предписывать законы ей надо, а съ любовью изучать ихъ; не учить, но поучаться. Не съ легкой насмѣшливостью, а съ благоговѣніемъ надо приступать къ этому изученію. Тутъ дѣло въ томъ, чтобы понять, вѣрно оцѣнить данное явленіе; оцѣнить жизненное – ли оно, коренное явленіе, или наносное, механическое; изучить исторію его развитія; по мѣрѣ силъ, постигнуть основные законы этого развитія; но законы эти не ставить мѣркой другимъ подобнымъ явленіямъ, не считать ихъ безусловно – справедливыми; жизнь не справляется о нашихъ выводахъ; *жизнь творитъ*. И потому – то всякое проявленіе жизни нужно судить, по вѣщему слову пѣвца Полка Игорева, «по былинамъ сего времени, а не позамышленію Бояню».

Какъ легко и удобно объясняется жизнь по мѣркѣ извѣстной теоріи и какъ трудно изучать ее, открывать ея собственные сокровенные законы! Легко объяснять исторію человѣчества простыми случайностями, механическимъ сцѣпленіемъ обстоятельствъ, особенно глупостію и неразвитостію пред-

ковъ; но не легко разгадать законы ея развитія, – то какъ постепенно раскрывались они. Какъ легко, во время оного, объяснялась, на примѣръ, исторія земнаго шара! Геологическій переворотъ, вслѣдствіе чисто – механическихъ причинъ, – и начинается новый періодъ. Неизмѣримо труднѣе понять органическую связь двухъ періодовъ, разъяснить, что послѣдующій есть высшая степень развитія предъидущаго!

Механическое, разсудочное объясненіе обыкновенно удовлетворяетъ многихъ, преимущественно скудно – одаренныхъ жизненными силами и скудныхъ мышленіемъ; кому – же льститъ амбиціи: «какъ это они такъ цѣлые вѣка бьются, а я такъ скоро все это взял да и понялъ.» Мъщанство было всегда не только закоренѣлымъ врагомъ, но и *искажителемъ* науки. Но не такой человекъ былъ Аполлонъ Григорьевъ, чтобы успокоиться подобными объясненіями. Онъ не удовлетворялся поверхностнымъ знаніемъ; онъ не могъ, въ угоду теоріи, не замѣчать жизненнаго явленія, когда оно тутъ, передъ глазами, громко кричащее о своемъ существованіи. Ему

требовалось изучить его, опредѣлить точно, безъ всякой предвзятой идеи. Не отъ предмета, не отъ частнаго явленія шла его мысль, а къ предмету, къ изученію частнаго явленія.

Чтобы вполнѣ и достожджно оцѣнить критическую дѣятельность покойнаго нужно также показать, какъ зародились въ немъ его воззрѣнія, какой источникъ оживилъ его мысль.

Бываютъ времена, когда жизнь громко заявляетъ свои требованія; когда прежнія спокойныя, отшлифованныя и отполированные, воззрѣнія не удовлетворяютъ людей; когда чувствуется потребность *новаго*, живаго слова; когда условныя понятія тяготеютъ; когда хочется жить не однимъ разсудкомъ, а всѣмъ существомъ, т. е. жить взаправду; когда хочется постигнуть тайну жизни не сухимъ логическимъ путемъ, а всѣмъ душевнымъ и сердечнымъ строемъ; когда мысль и слово становятся живыми, поэтическими, одухотворенными.

Такова была великая эпоха, выразителемъ стремленій которой былъ великій учитель людей Шеллингъ. Это было *вѣяніе*, охватив-

шее все живое и свѣжее. Органической взглядъ на природу и человеческую жизнь, во всѣхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, — такова основа этого ученія. Что такое организмъ? Это есть нѣчто цѣльное, недѣлимое, законченное въ самомъ себѣ; монада, развивающаяся по своимъ собственнымъ, присутствующимъ ей, законамъ. Не внѣшнія причины строятъ организмъ, а онъ самъ развивается изнутри; не внѣшнія обстоятельства механически видоизмѣняютъ его, а онъ приспосабливается къ нимъ; онъ вступаетъ съ ними въ борьбу, онъ силится раскрыть свои законы.

Все это теперь, такъ сказать, наглядно выяснено естественными науками, — но не изъ почастнаго изученія явленій природы выведенъ этотъ законъ; изученіе въ этомъ случаѣ шло высшимъ и болѣе живымъ путемъ: отъ мысли къ предмету, а не на оборотъ. Философія Шеллинга породила такъ называемую *натурфилософію*, ученіе, которое Александръ фонъ Гумбольдтъ называлъ *умственными сатурналіями*, не постигая какой великій толчокъ дало оно естественнымъ наукамъ[2].

Но вліяніе Шеллинга не было въ одну сторону; оно было слишкомъ жизненно и много – объемлюще, чтобы ограничиться сферой однихъ какихъ – нибудь наукъ. Здѣсь не мѣсто говорить объ этомъ подробно, но надо указать, какъ русская мысль откликнулась на это ученіе, какъ охватило ее это *вѣяніе*.

Ученіе Шеллинга не давало сухихъ логическихъ формъ; его нельзя было механически прилагать; оно требовало живого проникновенія, конгеніальнаго пониманія.

Подъ плодотворнымъ вліяніемъ этой – то философіи началось самостоятельное изученіе русской жизни. Уже нельзя было легкомысленно относиться къ русской исторіи, зачеркивать весь допетровскій періодъ ея, и находить его глупымъ потому только что онъ не подходилъ подъ законы чуждыхъ намъ европейскихъ государственныхъ организмовъ, другими словами – потому только что мы сами не умѣли смотрѣть на него. Надо было начать изучать это своеобразное развитіе, отыскать его своеобразные законы и признать законность его бытія; опредѣлить вліяніе постороннихъ причинъ,

разъяснить безсиліе ихъ относительно коренныхъ основъ народной жизни.

Русская мысль проснулась и внятно заявила свою самостоятельность; тотчасъ – же получился и соотвѣтственный результатъ, весьма не маленькій; именно: что мы совсѣмъ забывали про одну, не совсѣмъ – то маловажную силу русской земли – про русскій народъ.

Это заявленіе было встрѣчено противной партіей ярыми, и нельзя сказать чтобы совсѣмъ честными, нападками. Славянофилы имѣли то нравственное преимущество въ этомъ спорѣ, что хорошо знали чего они сами хотятъ и чего хотятъ ихъ противники; но западники совершенно не понимали своихъ противниковъ и ограничивались грубыми насмѣшками надъ зипунами, мурмолками и т. д. Печальная исторія, продолжающаяся даже до сегодня.

О народъ, о томъ народъ, на котораго Бѣлинскій почти сердился за его упрямую оригинальность – заговорили съ почтеніемъ; начали съ любовью изучать его исторію и бытъ, его пѣсни и былины. Тамъ, гдѣ прежде видѣли одну закоснѣлую грубость, – тамъ ока-

зались высокіе нравственные идеалы; тамъ гдѣ видѣли одну неуклюжую неумѣлость и почти неспособность къ гражданскому обществу, съ удивленіемъ увидѣли зародыши такихъ общественныхъ формъ, которыя оказались высокими даже для утопистовъ и избраннѣйшихъ друзей человѣчества западной цивилизаціи; и главное, что особенно было обидно для господъ, принявшихъ петровскій переворотъ за высшую фазу внутренняго развитія, — заподозрѣна была вообще состоятельность западной цивилизаціи и ея идеаловъ по приложимости ихъ къ русской жизни и по отношенію къ зачаткамъ самостоятельнаго русскаго просвѣщенія.

Это умственное движеніе не могло не имѣть вліянія на впечатлительную и страстную натуру Аполлона Александровича. Собственно говоря, западникомъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ никогда не былъ. Если одно время, при первомъ прїѣздѣ въ Петербургъ, въ 1844 году, онъ и казался западникомъ, то это надо приписать съ одной стороны молодости его, съ другой сильному вліянію нѣкоторой энергической и таин-

ственной личности, о которой онъ, къ сожалѣнiю, рассказывалъ весьма мало, думая вполне характеризовать ее въ своихъ «Ски-тальчествахъ».

Въ этомъ великомъ дѣлѣ пробужденiя русской мысли и самостоятельнаго изученiя проявленiй русской жизни, Аполлону Григорьеву выпало на долю быть разъяснителемъ развитiя русскаго искусства и преимущественно литературы; любопытно въ этомъ отношенiи прослѣдить развитiе его собственной мысли; къ сожалѣнiю, въ этомъ бѣгомъ очеркѣ я не могу изложить этого развитiя подробно, какъ потому, что мнѣ хочется теперь сказать единственно о его заслугахъ вообще, въ общей цѣльной картинѣ, такъ и потому, что подобное дѣло требуетъ времени и особеннаго изученiя.

Что – жъ новаго сказалъ Григорьевъ, какъ критикъ? Новость была во взглядѣ на искусство, какъ на органическое и уже потому одному совершенно законное произведенiе народной жизни, какъ на одно изъ главнѣйшихъ и необходимѣйшихъ выраженiй этой жизни. Ясно, что при такомъ

основномъ взглядѣ нельзя было ограничиться повтореніемъ задовъ, или приложеніемъ какой – бы то ни было эстетической теоріи къ произведеніямъ русской поэзіи. Тутъ мало было изученія народной поэзіи, мало было изученія литературы, – тутъ нужно было особое чутье, конгеніальность. Надо было живьемъ прочувствовать, полюбить всею душою и всѣмъ сердцемъ, постигнуть не букву, а самую суть дѣла.

Взглядъ Григорьева былъ противоположенъ и взгляду Бѣлинскаго послѣднихъ годовъ, т. е. *полезнаго искусства*, такъ сказать *нравоучительнаго* и дилетантическому (или гастрономическому, какъ онъ называлъ его) взгляду *искусства для искусства*. Свою критику онъ назвалъ «органической» критикой, т. е. такой, которая разсматриваетъ искусство, какъ органическое произведеніе народной жизни; даннаго художника, какъ болѣе или менѣе сильнаго и полнаго выразителя этой жизни, и данное художественное произведеніе, какъ органическое произведеніе внутренняго міра самого художника, живущаго въ связи съ народною

жизнію, — не навѣянное ему извнѣ, не сочиненное однимъ головнымъ процессомъ, а созданное почти также безсознательно, какъ творить сама мать — природа. Этотъ взглядъ не примиряль, въ обыкновенномъ смыслѣ, двухъ вышеназванныхъ теорій; онъ не старался согласовать ихъ; онъ обнималъ бóльшій горизонтъ, онъ смотрѣлъ на дѣло жизненнѣе, свободнѣе, шире и правдивѣе обѣихъ предъидущихъ взглядовъ. Разсудочныя доказательства теорій оказались несостоятельными передъ разумностію этого взгляда.

Этотъ взглядъ силёнъ тѣмъ, что онъ шоль строго — научнымъ путемъ, путемъ новой науки, основателемъ которой былъ Шеллингъ. Аполлонъ Григорьевъ положилъ основанія *научной* критики. Теорія «полезнаго» искусства не въ силахъ объяснить высшихъ проявленій искусства, она ихъ устраняетъ, не хочетъ знать,[3] но устраненіе не значитъ объясненіе; оно обнаруживаетъ несостоятельность мысли; смѣшно сердиться на фактъ, смѣшно ругать и поносить его, единственно на томъ основаніи, что онъ не подхо-

дить подъ мърку теоріи. На какой жалкой ступени стояли – бы науки, если – бы всѣ такъ обращались съ фактами. Что если – бы натуралистъ, встрѣчая новое явленіе, игнорировалъ – бы, умышленно пропускалъ его и его значеніе мимо очей, единственно потому что оно не удобно – изъяснимо съ точки зрѣнія его теоріи? Такъ – бы до сихъ поръ намъ и оставаться напр. при теоріи истеченія свѣта, признавши ее вѣнцомъ человѣческой мудрости. Это невозможно, скажутъ многіе, но это къ несчастію въ полной силѣ для искусства.

Передъ вами Гомеръ, передъ вами Дантъ, передъ вами Шекспиръ, – и чѣмъ вы отдѣльваетеесь? Тѣмъ, что это глупости, или поделикатнѣе изображенія человѣческой глупости. Какое жалкое объясненіе! «Намъ они бесполезны, долой ихъ!» слышатся восклицанія.

Что если – бы натуралистъ встрѣтивъ кость какого нибудь ископаемаго звѣря, динотеріума, ихтіозавра, или какого другого, предложилъ – бы вопросъ: на что она полезна? или сталъ – бы объяснять кажущуюся причудливость формъ этихъ животныхъ

глупостію и не умѣлостію природы? если – бѣ онъ предложилъ природѣ вопросъ: зачѣмъ дескать было дѣлать такую глупость и создавать такихъ чудищъ, когда можно творить болѣе приличныхъ животныхъ?

Общій смѣхъ встрѣтилъ – бы такого умника. Отчего – же въ дѣлѣ критики не общій смѣхъ встрѣчаетъ поклонниковъ полезнаго искусства? Отчего простые научные приемы становятся не понятны въ приложеніи къ высшимъ сферамъ знанія? Правда, приложеніе ихъ въ этомъ случаѣ гораздо труднѣе, требуетъ большой осторожности и тонкости. Но развѣ это недостатки?

Отчего научный терминъ, въ правильно-мъ его приложеніи, встрѣчаетъ недоверіе или даже насмѣшку, напр. въ выраженіи *органическая критика*, и терпится тамъ, гдѣ онъ совершенно неприложимъ и постоянно употребляется съ оговорками, наприм. *органическая химія*?

Отчего та точка зрѣнія, которая объясняетъ, изучаетъ, выводитъ законы, – въ меньшемъ почтѣ чѣмъ та, которая отвергаетъ факты и сердится на нихъ? Отвѣтъ ясенъ: от-

того, что первая труднѣе и требуетъ большой умственной работы, а вторая легка и никакой работы не требуетъ, а единственно *охоты*.

Гомеръ напр. вполнѣ понятенъ съ точки зрѣнія органической критики, какъ выраженіе, полное и органически родившееся, жизни древней Греціи. Это – великій остатокъ уже исчезнувшей формаціи жизни человѣчества. Его можно изучать со всевозможныхъ сторонъ; онъ даетъ возможность понять этотъ древній періодъ развитія, выражать его въ нашемъ умѣ и воображеніи. Нечего спрашивать: «для чего Гомеръ? Зачѣмъ Гомеръ?» Онъ правъ, тѣмъ что ужъ онъ есть.

Мы видимъ изъ Гомера, что сущность человѣческаго духа таже отъ вѣка, хотя проявленія были другія; своеобразная красота его божественныхъ пѣсенъ жива и понятна для насъ, какъ будетъ жива и понятна еще много вѣковъ. А этотъ драгоценный памятникъ прошлой жизни человѣчества не цѣнится у насъ ни въ грошъ, считается *безполезнымъ*!

Мудростью вѣка считается обозвать Гомера какимъ нибудь позорнымъ именемъ! И

легко, и работы мысли не требуетъ, и деньги за это платятъ.

И такъ, органическая критика смотритъ на художественныя произведенія, какъ на организмы, какъ на произведенія извѣстной народной почвы. Ясно, что она будетъ старательно отличать всѣ произведенія наносныя, не имѣющія ни какого отношенія къ народной жизни. Эти наносныя произведенія тоже на народномъ организмѣ, что пыль на листѣ дерева; они смываются первымъ дождемъ и о нихъ нѣтъ больше помину. Народный организмъ можетъ быть въ ненормальномъ состояніи, какъ всякій другой, и давать болѣзненный плодъ. Внѣшнія вліянія могутъ его изъязвить, но не могутъ измѣнить его сущности; она измѣняется или, вѣрнѣе, раскрывается по своимъ собственнымъ законамъ.

Одинаковость метода органической критики и естественныхъ *органическихъ* наукъ повела неминуемо къ одинаковости терминовъ.

Григорьевъ плохо зналъ естественныя науки и тѣмъ удивительнѣе его способность удачно примѣнять ихъ термины. Положи-

тельно нѣтъ ни одного неудачнаго и это объясняется единствомъ исхода отъ Шелинговой философіи.

Напр., что можетъ быть удачнѣе названія *растительная* поэзія, по примѣненію къ поэзіи народной. Какъ лучше выразить эту непосредственную нераздѣльность отъ почвы, эту распространяемость мотивовъ, эти варьяціи ихъ по мѣстностямъ, напр. переходъ мажорнаго напѣва срединныхъ губерній въ минорный степовыхъ, совершенно аналогичные съ разновидностями и распредѣленіемъ видовъ растеній; наконецъ этотъ извѣстный фазисъ народной жизни, когда поэтическія народныя силы творятъ таинственно – совокупно, не высылая отдѣльныхъ личностей – поэтовъ.

Или возьмемъ другой терминъ, надъ которымъ такъ усердно смѣялись во время оно многіе, даже не глупые люди, именно *допотопныя явленія* въ литературѣ? Что такое ископаемыя животныя относительно нынѣ существующихъ, мамонтъ относительно слона? Мамонтъ, развѣ это не зачаточная форма, высшее развитіе которой слонъ? Берите не

звукъ, а смыслъ слова. Развѣ нѣтъ подобныхъ отношеній между развитымъ художникомъ – заклинателемъ своихъ силъ и его предше- ственникомъ, гдѣ тѣ—же силы не пришли еще въ равновѣсіе, не окончательно разви- лись, такъ сказать еще въ зачаткѣ; развѣ от- носительно вполнѣ развитаго художника, ху- дожникъ – предшественникъ, который не мо- гъ сладить съ своими силами не является уродливостью[4]. Названіе допотопнаго явленія въ литературѣ можетъ вамъ пока- заться страннымъ по отношенію къ явленіямъ слишкомъ близкимъ; но возьмите для сравненія два болѣе отдаленныя явленія, напр. Шекспира и Эсхила, и сравните ихъ. То- гда вы поразитесь мѣткостью термина и глу- биной скрывающейся подъ нимъ мысли.

Такихъ терминовъ введено Аполлономъ Григорьевымъ много, и каждый изъ нихъ имѣетъ строго – опредѣленный научный смыслъ. Онъ былъ большой мастеръ группиро- вать явленія и потому рѣдко ошибался въ оцѣнкѣ даннаго. Стоитъ вспомнить, что онъ напр. первый взглянулъ на Пушкина, какъ на поэта *народнаго*, что онъ не голословно сказа-

ль это, а вывелъ изъ изученія произведеній великаго поэта; что онъ показалъ, почему наша литература послѣ Пушкина имѣла извѣстный характеръ и какія частности Пушкинскаго таланта развила она. — Равно первый Григорьевъ — же показалъ знаніе характера Чацкаго; онъ первый отнесся къ Чацкому не съ полемической стороны, а объективно изучая его. Значеніе Гоголя также сильно разъяснено имъ. Гоголя до него считали писателемъ *бытовымъ*, въ полномъ смыслѣ слова, и онъ первый ясно указалъ на эту громадную ошибку. А это очень важно.

Говорятъ, что Григорьевъ увлекался и былъ пристрастенъ. Во первыхъ, безусловная непристрастность есть выдумка и вздоръ ограниченныхъ людей, а во вторыхъ, мало произносить голословно такія обвиненія; надо было — бы доказать ихъ, да доказать научно, съ полнымъ знаніемъ мнѣнія противника. Кто не увлекался? Есть — ли живъ чловѣкъ въ полъ? Мы стоимъ только за то, что увлеченія Григорьева были жизненнѣе и сочувственнѣе, чѣмъ увлеченія многихъ другихъ.

Такъ Григорьевъ не могъ никогда увлечься, подобно высокоталантливому Добролюбову, и признать Гончаровскаго Штольца за какое – то нравственное совершенство, а бюрократическое произведеніе г. Гончарова за рѣшеніе, окончательное и безапелляціонное, вопроса о русскомъ чловѣкѣ, единственно по случаю встрѣчающагося въ этомъ произведеніи слова: обломовщина.[5]

Во время восхваленій Штольца, Григорьевъ въ небольшой замѣткѣ, при разборѣ Дворянскаго Гнѣзда, необыкновенно вѣрно характеризировалъ Штольца, какъ продуктъ татарско – нѣмецкой цивилизаціи.

Вспомните, какъ смѣялись надъ Григорьевымъ за его *новое слово*, за то, что онъ признавалъ Островскаго громаднымъ талантомъ, – а теперь кто – же сомнѣвается въ этомъ? И съ каждымъ днемъ опредѣленіе Островскаго, сдѣланное Добролюбовымъ, какъ описателя *Темнаго царства*, становится несостоятельнѣе, а опредѣленіе Григорьевское какъ *писателя бытоваго* получаетъ все большій и большій кругъ поклонниковъ.

Ставить увлеченія въ упрекъ чловѣку,

значить не знать челоѣческой природы; кто ни разу не увлекался, тотъ ни разу не говорилъ правды.

Работая въ этомъ направленіи, Григорьевъ боялся, чтобы новые результаты работы не приняли формы законченной теоріи. Вотъ почему изъ славянофиловъ съ самымъ большимъ сочувствіемъ онъ относился къ Хомякову. Ясный и многосторонній умъ Хомякова былъ также противъ замкнутости теоріи; стоитъ прочесть напр. его глубокія замѣчанія на прекрасныя статьи И. В. Кирѣевскаго, чтобы убѣдиться въ этомъ.

Само собою разумѣется, что противная партія относилась къ Аполлону Александровичу также, какъ къ славянофиламъ. Мнѣ не случалось встрѣчать ни одного дѣльнаго возраженія; всегда грубая насмѣшка, крайнее непониманіе, а въ послѣднее время намеки на то, что Григорьевъ страдалъ отъ запоя.

Если литература относилась къ Григорьеву – не знаю какъ выразиться правильнѣе и въ то – же время понѣжнѣе – ну словомъ, не хорошо и не умно, за то въ массѣ читателей у него много было поклонниковъ; Григорьевъ

часто не довѣрять, чтобы это была правда, но за то не разъ приходилось ему разувѣряться въ этомъ недовѣрїи; особенно поразилъ его одинъ молодой натуралистъ, оказавшійся не только большимъ почитателемъ его таланта, но и большимъ знатокомъ его произведеній.

— «Вотъ ужъ не ожидалъ», простодушно сказалъ ему Григорьевъ,» я могъ еще предложить, что не всѣ меня ругаютъ, что не всѣ—же пропитались новѣйшей мудростью пяти книжекъ, — но чтобъ были люди, которые очевидно слѣдятъ за моею дѣятельностію, помнятъ мои статьи, — признаюсь этого я не ожидалъ. Значить я еще не совсѣмъ ненужный человѣкъ.»

Извѣстно, что мысль о томъ, что онъ ненужный человѣкъ часто преслѣдовала Григорьева и онъ даже не разъ высказывалъ это печатно.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать одного случая, чрезвычайно характернаго для объясненія отношеній литературы къ дѣятельности Аполлона Александровича.

— «Скажите, пожалуйста», спрашивалъ одного изъ друзей покойнаго одинъ изъ на-

шихъ почтенныхъ литераторовъ (хотя и не изъ стоящихъ во главѣ нашей литературы, но и не подъ каблуками ея башмаковъ), который, конечно, не упускалъ случая неблаго-склонно отозваться въ печати о дѣятельности Григорьева, – «скажите, пожалуйста, что это Григорьевъ пишетъ: дѣлаетъ ли онъ разборы сочиненій, или все это одна философія?»

– «Что означаетъ это: одна философія?» спросили его.

Почтенная личность нѣсколько сконфузилась и отвѣчала: «ну, понимаете, я слово философія употребилъ, какъ оно часто въ разговорѣ употребляется.»

Т. е. въ смыслъ глупости?

И сей любопытный литераторъ, конечно, не стыдился и впредь бранить того, чьихъ статей онъ за недосугомъ не читалъ.

Изъ предъидущаго читатель могъ видѣть, какъ органически стройно развивалась мысль Григорьева, разумно необходимый ходъ ея. Строгая научная послѣдовательность, вытекавшая изъ жизненности основнаго возрѣнія, полное и всестороннее развитіе идеи – вотъ что характеризовало – бы его

письма о «Парадоксахъ Органической Критики», если бы смерть не прервала его дѣятельности.

Кромѣ критической, главной стороны литературной дѣятельности Григорьева, есть еще сторона довольно замѣчательная, – это его поэтическая дѣятельность. Не говорю о его первыхъ повѣстяхъ, гдѣ видно, что человѣкъ еще не можетъ совладать съ собою, что онъ ищетъ настоящаго пути, – но стоитъ вспомнить о его поэмахъ. Его поэмы могутъ служить вполнѣ для характеристики его личности; таковы «Venezia la bella» (Современникъ, 1858, ноябрь), «Борьба» (Сынъ Отечества 1857) рассказъ о Сальвини «Великій Трагикъ» (Русское Слово, 1859, январь) и «Вверхъ по Волгѣ» (Русскій Міръ). Вотъ что онъ говоритъ о себѣ:

*Какой – то странникъ вѣчный я...
Меня осѣдлость не прельщаетъ,
Меня минута увлекаетъ...
Ну, хоть минута да моя!..
А тамъ... а тамъ суди Владыко!
Я знаю самъ, что это дико,
Что это къ ужасамъ ведетъ...*

Но переспоришь – ли природу?
Я въ жизни вѣрю лишь въ свободу,
Невѣдомъ вовсе мнѣ расчотъ...
*Я вѣчно, не спросяся броду,
Какъ омежной кидался въ воду.*

И дѣйствительно, расчотъ былъ не вѣдомъ ему. Ни разу онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями, ради расчота. Это можно сказать прямо и смѣло.

Не зачѣмъ, я думаю, скрывать того обстоятельства, что Григорьевъ страдалъ запоемъ, хотя нельзя не осудить о преждевременномъ заявленіи объ этомъ его литературными противниками, которые хотѣли пронять его если не мытьемъ, такъ катаньемъ. Этотъ

*Недугъ, котораго причину
Давно – бы отыскать пора*

сразилъ преждевременно не одну талантливую личность. Имъ страдали поэты Полежаевъ и Мей, актеръ Мочаловъ, литераторъ Помяловскій. Независимо отъ нравственныхъ причинъ, – это просто физическая болѣзнь, которая приноситъ больнымъ великія страданія. Эта болѣзнь несетъ за со-

бою крайнее разстройство всего организма, бессонницу, нервное раздраженіе, сопровождающееся галюцинаціями. Не отъ радости и не для радости пьютъ такіе люди. Не чревоугодіе тянетъ ихъ къ вину. Есть еще люди, любящіе нравственно дразнить и мучить себя; но кромѣ самыхъ ярыхъ фанатиковъ, никто нарочно не станетъ подвергать себя страшнѣйшимъ физическимъ страданіямъ.

Я упомянулъ о болѣзни Аполлона Григорьева, потому что печатно не только смѣялись надъ нею (на извѣстной степени развитія, люди охотно смѣются надъ несчастіями ближнихъ), но намекали даже на его грязную жизнь вообще.

Защищать или разбирать частную, особенно семейную жизнь, какого бы то ни было современника мы считаемъ не позволительнымъ.

Конечно, болѣзнь не могла – же совершенно покорить живого и сильнаго чловѣка. Много было пережито Григорьевымъ и умственно, и нравственно! Прочтите его «Борьбу», прочтите его «Venezia la bella», о которой онъ позже такъ вспоминалъ:

Да! было время... Я иной
Любилъ любовью; образъ той
Въ моей «Venezia la bella»
Похороненъ; была чиста,
Какъ небо, страсть и пѣсня та —
Молитва: Ave Maria stella!

Чтобъ снова мигъ хоть пере-
жить
Той чистой страсти, чтобъ вку-
сить
И счастья мукъ, и муки счастья,
Безъ сожалѣнья — бѣ отдалъ я
Остатокъ бѣдный бытія
И всѣ соблазны сладострастья.

Эта, обыкновенно называемая «несчаст-
ной» любовь, была безъ сомнѣнія его самымъ
счастливымъ воспоминаніемъ. Въ сонетѣ, на-
писанномъ при окончаніи перевода Ромео и
Джульеты, онъ снова воспоминаетъ о ней, го-
воря:

И все — же ты, далекій призракъ
мой,
Въ твоей бывалой, дѣвственной
святынь,
Передъ очами духа всталъ нѣмой,
Каряущій и гнѣвно — скорбный

нынѣ,
Когда я трудъ завѣтный кончилъ
свой.
Ты молніей сверкнулъ въ глухой
пустынѣ
Больной души... Ты чистою стру-
ей
Протекъ внезапно по сердечной
тинѣ,
Гармоніей святою вторгся въ
слухъ,
Потрясъ въ душѣ сѣдалище Ваа-
ла —
И все, на что насильно былъ я
глухъ,
По ржавымъ струнамъ сердца
пробѣжало
И унеслось – «куда мой падшій ду-
хъ
Не достигнетъ» – въ обитель идеа-
ла.

Съ друзьями онъ былъ всегда одинаковъ;
нельзя сказать, чтобы онъ скоро сходился; ес-
ли это и случалось, то такая поспѣшная друж-
ба не долго продолжалась. Онъ былъ всегда
доступенъ и терпѣть не могъ литературнаго
генеральства. Не смотря на свои такъ называ-

емья увлеченія, Григорьевъ былъ чрезвычай-но строгъ къ произведеніямъ своихъ друзей; если что ему не нравилось, то онъ говорилъ прямо, не обинуясь и часто довольно рѣзко. Всѣ художники, болѣе или менѣе близко знавшіе покойнаго, конечно, подтвердятъ мои слова.

Считаю излишнимъ распространяться объ огромномъ (въ полномъ смыслѣ слова) образованіи покойнаго; читатели могли видѣть это изъ его статей. Нужно было удивляться: чего онъ только не зналъ, какого только автора не читалъ. И не одну русскую литературу зналъ онъ хорошо; неменьше русской зналъ онъ и французскую, и нѣмецкую, и итальянскую, Байрона и Шекспира.

Онъ обладалъ великимъ свойствомъ: умѣнѣемъ выслушивать и вполнѣ понимать мысль собесѣдника; вотъ отчего съ нимъ было такъ легко и пріятно говорить.

Взглядъ его на природу отличался глубокою религіозностію, глубокимъ религіознымъ пантеизмомъ если можно такъ выразиться. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ:

*Привыкли плоть дѣлать мы съ
духомъ...*

*Но тотъ, кто слышитъ чуткимъ
ухомъ*

*Природы пульсъ... будь жизнью
чистъ*

И не порочень передъ Богомъ,

*А все – же, взявши въ смыслъ
строгомъ,*

– И онъ частенько пантеистъ

И пантеистъ еще во многомъ.

Въ одно изъ послѣднихъ нашихъ свиданій, читая мнѣ свой переводъ «Ромео и Джульетты», онъ указывалъ на глубокой пантеизмъ всѣхъ великихъ поэтовъ, на это страшное сплетеніе мотивовъ жизни и смерти, которое такъ ярко выступаетъ напр. въ монологъ Джульетты передъ тѣмъ, когда она принимаетъ снотворный напитокъ, или въ монологъ Ромео, передъ отравленіемъ.

– «Да, правъ Шеллингъ», заключилъ онъ, «смерть есть только начало новаго фазиса развитія; начало новой метаморфозы».

Выше я упомянулъ о его поэтической дѣятельности; онъ цѣнилъ ее по отношенію къ искренности мотивовъ, но охотно призна-

вался, что это, собственно говоря, только матерьялы для художественныхъ созданий. Но поэтическая струя у него была сильна и она нашла себѣ прекрасный исходъ въ переводѣ Байрона и особенно Шекспира. Безъ сомнѣнія, его переводы Шекспира, необыкновенно оригинальные по приему, но вѣрные по духу (и даже буквально вѣрные) могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими переводами А. В. Дружинина, А. Кронеберга и началомъ перевода «Бури» Л. А. Мея.

Мнѣ случилось слышать престранный приговоръ его переводу «Сна въ лѣтнюю ночь», который такъ высоко ставилъ покойный А. В. Дружининъ (а его, кажется, нельзя упрекнуть въ непониманіи Шекспира). Упрекъ этотъ былъ сдѣланъ господиномъ, собиравшимся издавать Шекспира и даже чуть – ли не переводить (не зная подлинника) и состоялъ въ томъ, что переводъ сдѣланъ «слишкомъ по русски» (буквальное выраженіе).

Смѣлость въ передачѣ образовъ подлинника и составляетъ достоинство хорошаго перевода. Дружининъ, при переводѣ Лира, боялся

этой смѣлости, желая приблизить Шекспира къ пониманію публики, но за то Лиръ – самый неудачный изъ его переводовъ, и онъ самъ отказался отъ этой методы при переводѣ Коріолана (лучшій его переводъ), Ричарда III и короля Джона. Равно, этою – же смѣлостью отличается удачнѣйшій переводъ А. Кроненберга: «Много шуму изъ пустяковъ».

При переводѣ, Григорьевъ старался оригинальноу рѣчью передать характеры Шекспировскихъ лицъ. Это особенно ему удалось въ Ромео и Джульетѣ, гдѣ Ромео, Джульета, Кормилица, Старый Капулетъ, Меркуціо, слуги – всѣ говорятъ свойственнымъ имъ языкомъ и гдѣ характеры переданы въ совершенствѣ. Григорьевъ въ послѣднее время собирался поприлежнѣе заняться Шекспиромъ. Окончивъ «Ромео и Джульету» онъ хотѣлъ приняться за «Мѣра за Мѣру».

Читатель, надѣюсь, извинитъ меня за нѣкоторыя неровности и шероховатости моей статьи; это объясняется, какъ поспѣшностью работы, такъ и близостью самой смерти Григорьева. Всѣ мы, друзья его, еще не успѣли опомниться отъ этого удара....

Считаю нелишнимъ замѣтить слѣдующее: въ нѣкоторыхъ некрологахъ сказано, что Ап. Ал. былъ въ послѣднее время редакторомъ «Якоря»; это несправедливо; Ап. Ал. оставилъ это изданіе еще въ январѣ, хотя его имя подписывалось подъ названнымъ журналомъ.

Вполнѣ увѣрены, что многіе съ сочувствіемъ отзовутся о покойномъ. Намъ дорого, конечно, только сочувствіе тѣхъ людей, дѣятельности которыхъ мы сами сочувствуемъ, какъ напр. намъ дороги нѣсколько теплыхъ строкъ о Григорьевѣ И. С. Аксакова въ послѣднемъ номерѣ «Дня».

Мы желаемъ только одного, чтобы противники осуждали его *не голословно*; это важно, ради самого ихъ дѣла.

Заключаю тѣми – же двумя стихами, которыми началъ, и которые такъ любилъ покойный:

*Мертвый въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій![6]*

6-го октября.

Примечания

Авторъ говоритъ здѣсь какъ – бы отъ лица редакціи. Дѣйствительно, по нашей просьбѣ написалъ онъ эту оцѣнку дѣятельности и литературныхъ заслугъ покойнаго и дорогого сотрудника нашего. Какъ ближайшій изъ друзей покойнаго онъ полнѣе и удобнѣе другихъ могъ исполнить эту обязанность. *Ред.*

[^^^]

Стоить вспомнить *метаморфозу растений* Гёте, сперва осмѣянную натуралистами, но горячо принятую натурфилософами; далѣе – его же и Океновскую теорію черепа, поддержанную Стефаномъ Жоффруа – Сентъ – Илеромъ, и послужившую образцомъ для обширнѣйшихъ изслѣдованій; наконецъ самую теорію Дарвина, соотвѣтствующую давно провозглашонному натурфилософами закону постепеннаго развитія органическихъ формъ.

[^^^]

Она должна ихъ устранять чтобъ быть логичною и съ собой согласною – еслибъ даже того и не хотѣла, еслибъ сама натура критика лично вооружалась противъ того всею своею жизненностію. Примѣръ, – Бѣлинскій въ послѣдніе годы своей дѣятельности. *Ред.*

[^^^]

4

Ибо уродливость есть нечто иное, какъ недоразвитіе формы, или развитіе одной части на счетъ другой; нестройное, хотя и органическое развитіе.

[^^^]

Это и потому еще, что Григорьевъ былъ шире Добролюбова, шире, глубже и несравненно богаче одаренъ природою, чѣмъ Добролюбовъ. Добролюбовъ былъ очень талантливъ, но умъ его былъ скуднѣе чѣмъ у Григорьева, взглядъ несравненно ограниченнѣе. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозоръ его былъ уже, видѣль и подмѣчалъ онъ меньше, слѣд. и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и все одно и то же; такимъ образомъ, онъ, само – собою, говорилъ понятнѣе и яснѣе Григорьева. Скорѣе договаривался и стоваривался съ своими читателями чѣмъ Григорьевъ. На читателей мало знакомыхъ съ дѣломъ Добролюбовъ дѣйствовалъ неотразимо. Не говоримъ уже о его литературномъ талантѣ, бѣльшемъ чѣмъ у Григорьева, и энтузиазмѣ слова. Чѣмъ уже глядѣль Добролюбовъ, тѣмъ, само – собою, и самъ менѣе могъ видѣть и встрѣчать противурѣчій своимъ убѣжденіямъ, слѣд. тѣмъ убѣжденнѣе самъ становился и тѣмъ все яснѣе и тверже стано-

вилась рѣчь его, а самъ онъ самоувѣреннѣе.
Ред.

[^^^]

6

Полная (возможно) біографія и оцѣнка дѣятельности покойнаго будетъ приложена къ изданію его сочиненій.

[^^^]